

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ

Истребление персиян



Татьяна Никитична Толстая

Истребление персиян

Серия «Культурный разговор»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69025618

Истребление персиян: Издательство АСТ; Москва; 2023

ISBN 978-5-217-152606-1

Аннотация

”В какой-то момент наши слова, наши мысли о культуре и литературе, русской и мировой, эти бесконечные цитирования, эти попытки понимания – стали требовать выхода; пора было переносить наши разговоры на бумагу. Договорились писать диалоги. Не эссе, не очерки, а именно диалоги – про всё на свете, что кажется нужным, важным. И вот, прихлебывая чай с чабрецом, мы всё перебирали, голова к голове, строили сценарии, бродили по тропинкам и закоулкам русской словесности, и не только...”

В остроумных, тонких, блестящих беседах писателя Татьяны Толстой и кинокритика, эссеиста, культовой фигуры андеграунда Александра Тимофеевского легко и естественно совершаются переходы от Стеньки Разина – к Бунину, а от Пушкина и Чехова – к застольным песням, в них воспоминания о суровом быте девяностых переплетаются с рассказом о бунте стрельцов 1682 года и бегстве Петра I в Троицу в 1689-м, здесь сошлись Восток

и Запад, Эрос и Танатос, еда и телесность, а Есенин и Высоцкий соседствуют с Приговым и “Дау” Хржановского...

В книгу также вошли тексты друзей и близких Тимофеевского: Татьяна Москвина, Сергей Николаевич, Лев Лурье, Юрий Сапрыкин, Иван Давыдов, Алексей Зимин, Ольга Тобрелутс, Дмитрий Ольшанский, Андрей Плахов, Дмитрий Воденников, Елена Посвятовская, Елена Веселая и многие другие вспомнили о том, “каким был Шура”.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Татьяна Толстая	6
Диалоги	32
Истребление персиян	32
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Татьяна Толстая, Александр Тимофеевский Истребление персиян

© Толстая Т.Н., Тимофеевский А.А.

© Бондаренко А.Л., оформление

© ООО “Издательство АСТ”

*** * ***

Издание осуществлено при поддержке тех, кто знал и любил Шуру.

Издательство благодарит наследников Тимофеевского, его друзей, составителя и авторов книги за предоставленные для публикации фотографии из их архивов.

Татьяна Толстая

Дерево и воздух

Я уже не помню, когда и как познакомилась с Шурой, он тоже не вполне был уверен. Наши версии в любом случае расходятся, а Лена Веселая думает, что мы с ним впервые встретились на ее дне рождения, который совпадает с Шуриным: 14 августа.

Но это не так. Есть мнение, что мы знакомились дважды. Первый раз – в темном прокуренном коридоре “Московских новостей”, я для них писала какие-то сиюминутные по смыслу и неважные по качеству колонки. Помню, там еще стоял, подпирая нечистую стенку, “Вася” – Андрей Васильев, в то время еще не круглосуточно пьяный, не могучий и не разочарованный во всем на свете.

“Сейчас на Гоголевском бульваре один мент сказал друтому: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам»! Я в ахуе”, – мрачно рассказал Васильев. “Это великий Вася”, – подсказал чей-то голос. Может быть, Шурин.

Это вот я запомнила, маленькую фигуру Васильева вижу, а Шуру, красивого, огромного – под два метра ростом, – не вижу, хотя, как выяснилось, он там был и Гамлетом в ментовском исполнении тоже восхитился.

Прошлое затонуло, и отдельные картинки вылавливаешь из темных вод времени словно бы багром. А они разбухли и исказились.

*А после она выплывает,
Как труп на весенней реке,
Но матери сын не узнаёт,
И внук отвернется в тоске.*

Стало быть, начало девяностых, время шаткое и смутное: недавно сгорел Дом Актера на Тверской (подожгли). На месте сгоревшего здания сейчас сплошной гламур, мрамор, эскалаторы с музыкой и прочие духи и кожаные изделия за хуллион рублей, бери не хочу; и следа не найти от прежней жизни. Водишь, водишь руками, – нет, дверь в прошлое плотно закрыта, и не узнать: где тут был вход в магазин “Мясо”, – там, где из-под полы можно было купить отруб без костей и даже говяжий язык – розу советского застолья? Где знаменитый сортир, в котором шла подпольная торговля джинсами, косметикой и всяческим дефицитом? Московские красавицы выпархивали из сортира с французскими духами, из “Мяса” – с окороком на ужин; красота спасала мир в самые темные дни.

Я тогда жила в Америке, приезжала один-два раза в год, ничего не понимала в происходящем, вертела головой по сторонам и снова уезжала. Шура что-то почувствовал, откуда-то возник, что-то щелкнуло, – и вот он уже друг и брат на

всю оставшуюся жизнь. На всю ему отведенную жизнь.

* * *

Многие напишут о том, что Шура – последний человек Возрождения, потерянный брат Леонардо, всё понимающий в высоту и в глубину; или что он – последняя, заблудившаяся в петербургских метелях фигура Серебряного века с душой истонченной, эротической, отравленной красотой этого мира; или что он, наоборот, человек короткого и блистательного пушкинского отрезка времени: карты, попойки, стихи, *bon mots*, застолья поэтов и остроумцев, а надо всем – зависшая, несдвигаемая туча вечного самодержавия. Или что он – последний патриций, последний хранитель великой римской культуры, и вот сейчас падет Рим, ворвутся гунны, и библиотеки погибнут в пламени новых времен.

Это так, всё верно. Таким он и был – и тем, и этим, и еще тем, и описать это удивительное явление, эту необыкновенную фигуру не под силу в одиночку ни одному человеку. И не потому, что такого писателя не найдется, а потому, что Шура был одновременно всеми этими аватарами, он был разнообразен и един, он был циничен и патологически добр, он был уступчив и упрям в одну и ту же единицу времени. Он был многомерен, и многомерен в глубину – а в глубине не видно.

Как описать гения? – никак, читайте Шурины тексты, какой-то свет прольется, расщепленный призмой наших уси-

лий, какой-то ветер подует, что-то приоткроется. Что-то мы поймем, что-то уроним и потеряем.

Шурины тексты собраны и изданы в двух книгах героической Любой Аркус. Шура не хотел, сопротивлялся, уклонялся, ленился, не был уверен, отмахивался, — всё делал, чтобы не браться за этот труд. Шура был скала (мягкая скала), но Люба была таран. Книги вышли — это “Весна Средневековья” и “Книжка-подушка”, издательство журнала “Сеанс”. Тот, кто прочтет эти книги, почувствует, что в его сознании появилось новое измерение. Или так: в вашей комнате, знакомой и привычной, вдруг проступает дверь в стене — дверь, которой раньше тут не было. Вы распахиваете ее — и ах! — простор, луга, сады, какие-то скалы, какие-то моря, и деревья, деревья, деревья.

Шура не написал и сотой доли того, что мог бы. Ему было лень. Он хотел наслаждений: любовь, эрос, дружба, красота, еще раз красота, чувства, еще раз красота, вот это вот всё. Он любил чужой ум — это красиво; а если ум замусорен в человеке, то надо просто этому человеку помочь: отмоем ваш брильянт, и как же он славно засверкает! Шура отмыл парочку бриллиантов, и теперь эти люди прекрасно пишут, но он также потратил немало сил впустую, отмывая обычную щебенку, — конечно, безрезультатно.

Есть такой забавный психологический тест. Вы со своим верблюдом идете через пустыню. Жара. Вдруг на вашем пути – ведро воды! Что вы сделаете? Ответы самые разные:

- выпью ведро сам, верблюду не привыкать;
- поделюсь с верблюдом;
- напою верблюда, ведь ему тяжелей, чем мне;
- обольюсь холодной водой, и т. д.

Вы идете дальше, и вам встречается оазис, где растут пальмы, журчит вода и пасутся красивые лошади. Что вы сделаете?..

Вы идете дальше, и на вашем пути вырастает стена. Она простирается вправо и влево до горизонта. Что вы сделаете?.. (Тут, помимо типичных ответов вроде “пойду направо или налево, должна же стена когда-то кончиться”, есть и такие: “сяду и заплачу”, или: “а я ее перелезу, ведь не сказано, что она непреодолима!”.)

Мне было очень интересно, как Шура решит вопрос со стеной. Предстанет ли она перед ним высоченной? Или низенькой, как глинобитный дувал? Будут ли в ней двери, лазейки, калитки? Но Шура до стены не дошел. Он заявил мне:

- Я останусь с красивыми лошадьми.
- Шура, но тест еще не закончен! Вы должны идти дальше по пустыне!

– Нет, нет, я останусь с красивыми лошадьми.

Это был один из лейтмотивов его жизни: оставаться с красивыми лошадьми.

* * *

С Шурой никогда не было скучно. Такого просто не могло быть. У него был удивительный дар сделать любую тему разговора интересной, свежей и ясной, будь то принятый сегодня Думой очередной людоедский закон или сплетня про общего доброго знакомого. С Думой понятно, но вот умение хорошо приготовить сплетню и красиво ее подать – тут Шура был мастер. Он понимал, что упаковка не менее ценна, чем содержимое, и завертывал сплетню в нарядную бумагу. Получались художественные миниатюры, особый жанр; жалко, что я за ним не записывала.

А его бонмо, рождающиеся мгновенно, на лету!..

Я говорю:

– Олышанский пишет красиво, но у него всего две темы: сиськи и могилки.

Шура:

– В сущности, всё те же холмики.

Он зазвал меня работать с ним в газету “Русский Телеграф”, недолго просуществовавшую (1997–1998 гг.; ее уничтожил дефолт). Я приносила свой очерк или эссе, над которым работала дома, а Шурина задача была – писать колонки

раз или два в месяц. Архива газеты у меня нет (да сохранился ли он?), сужу по датам в “Весне Средневековья”, но там, судя по тем же датам, встречаются и несколько текстов, написанные в один день, очевидно, для разных изданий. Шура брал три разноплановых новости за минувшую неделю, садился за компьютер и сочинял колонку. Три новости необходимо было бесшовно скрепить, связать, сплести в рамках одной колонки, то есть прозреть в них (или придумать) нечто общее.

* * *

Он был Леонардо своего рода, но он был и Макиавелли: у него был настоящий государственный ум, он мыслил структурно, системно, большими историческими категориями. Из него вышел бы глава крупного ведомства, или премьер-министр, но он не хотел быть начальником – он хотел понимать, помогать, направлять, влиять. Хотел влиять – и потому занимался политтехнологиями и консультировал политиков. Выстраивал им публичные образы, писал речи, придумывал для них ключевые фразы и мемы, извлекал смыслы и упаковывал их в золотую шуршащую бумагу. Царедворец, визирь, еврей при губернаторе – он это мог и умел.

Недаром он происходил от вождя племени йомудов в Туркестане. Племя это считалось буйным и воинственным: в Википедии можно прочитать, например, что “в это время за-

силие йомудов переходило уже всякие границы, и их жестокость и притеснения до крайности отягощали население”. В 1880-х годах, рассорившись и навоевавшись со своими соседями, йомуды попросились в российское подданство. Их не сразу, но взяли. Один из сыновей хана Йомудского – Аннамухамед Караш-хан – был взят в заложники лет восьми от роду, крещен и стал зваться Николаем. Его дочь, Анна Николаевна Йомудская, обладала бешеным нравом. Шло время, ее выдали замуж. Через сколько-то лет безоблачного брака она вдруг узнаёт, что у ее мужа еще до свадьбы, до знакомства с ней были связи с какими-то другими женщинами. Дочь вождя хватает кинжал и бросается на неверного (задним числом) мужа. Крики, кровь! Он выжил, ее судили. Не знаю, чем кончилось, и Шура толком не знал. Но процесс, говорил он, был громкий. Такая вот страстная у него была прапрабабка.

Я часто думаю: чем удивительна и упоительна империя (которую нынче политкорректные чистюли в белых пальто считают причиной всех бед на земле). Не будь империи – не было бы этого барочного смешения кровей, вихря генов, пассионарных прорывов, не было бы метисов, мулатов, кварталов, не было бы Арапа Петра Великого, а значит, и Пушкина бы не было, беленькие тихонько сидели бы с беленькими, а черненькие тихонько шуршали бы с черненькими, каждый в своем отдельном садике или дворике. Гномов еще расставить среди настурций. Ну, или черепа соседей – что

кому больше нравится.

Не будь империи – не было бы у нас Шуры Тимофеевского, потомка бешеных тюрков, а может, и персов – они там все перемешались, грабили друг друга и отнимали друг у друга красивых баб. Сейчас сидели бы вы, Шурочка, в своей кибитке кочевой, на туркменском ковре, налево – верблюд, направо – баран, вокруг – каменная пустыня, и жара 50 градусов. “Нет, нет, не хочу так”, – смеялся Шура.

Одно время он консультировал первую леди Азербайджана, исключительной красоты женщину, – Шура был в упоении от ее красоты, немедленно конвертируя ее в добродетель, так что выходило сплошное совершенство. Речь шла о выстраивании сложного образа, одновременно национально-религиозного и демократически-европейского, баланс почти невозможный: тут муллы, а там моллы, тут Шамиль, а там Шанель, – не знаю, как он справлялся, я не спрашивала, да он и не рассказывал. Только вздыхал: Восток... Его одаривали черной икрой (а на таможне отбирали законную четверть), старинными шелковыми шальями, сюзанае и монистами; шали и мониста он передаривал мне. Помню, что его там спросили: как сделать так, чтобы московская интеллигенция разлюбила Армению и полюбила нас? – Никак, честно ответил Шура. Ну, долго он там не продержался.

Потом он служил консультантом у донбасского олигарха. Тот платил щедро, но Шура должен был быть готов к выполнению срочного задания двадцать четыре часа в сутки,

и это могло быть придумывание точки зрения на уйгурский конфликт или написание одной, но крылатой фразы по поводу открытия стадиона. “Дыр-дыр-дыр, а в конце: «Имя ему – “Донбасс-Арена”»”. Эта фраза стала нашим мемом – мы вздыхали этими словами над любой пустой, бессмысленной, отнимающей жизнь работой.

Я помню, как мы лежали на критском пляже, и звонил телефон.

– Да, можно. Хорошо, поменяйте. Нет, это всё равно.

– Что они там хотят, Шурочка?

– Спрашивают, можно ли заменить “возможно” на “вероятно”. Сами не могут решить. Я должен взять ответственность на себя.

Потом он ездил на открытие этой самой “Донбасс-Арены”. Пришлось посидеть часа четыре в ложе для випов, потерять четыре часа быстро утекающей жизни, тупо глядя на неинтересный ему футбол (он любил только фигурное катание). Его встречали как випа, селили как випа; его это сместило; как-то раз в номере гостиницы, где его поселили, весь сортир – пол, ванна, унитаз, – были щедро усыпаны лепестками роз. Шурочка позвонил мне со смехом: “Танечка! Я срал на розы!”.

Он брался за работы опасные и подходил слишком близко к краю, и заглядывал через край, туда, где уже нет ничего человеческого, и только вращаются со скрежетом страшные государственные шестеренки, перемалывающие всё живое. Он

всё понимал, но упрямо верил в разум, добро, в святыни и их бережное сохранение... только там, в этом жерле с шестеренками, уже не было ни добра, ни разума, ни святынь. Про одного из своих страшных знакомцев из этого жерла Шура как-то сказал: “Он не отбрасывает тени”.

* * *

У него было поразительное умение соединить вечное – с сиюминутным, высокое – с мелкобытовым, расставить в тексте яркие оксюмороны, наполнить, казалось бы, текст, как подушку, пухом и перьями пустяков, и всё это танцующи, и вдруг – раз! – эти пух и перья оборачиваются крыльями, и текст взлетает.

Я сейчас приведу пример. Вот эту колонку про “Титаник” можно изучать, разбирать и развинчивать, – и всё равно не понять, как он это сделал.

Это номер “Телеграфа”, посвященный выходу на экраны фильма Кэмерона. Я написала (не про фильм, а про саму катастрофу) длинный очерк, изучила несколько книг, купленных по этому поводу в Америке, потратила, наверно, месяц на всё про всё; Шура же, присев к компьютеру, за три часа (притом, что все его отрывали от работы, всем он был постоянно нужен) играючи сочинил краткий и блестящий текст.

23 февраля 1998

Состоялась московская премьера “Титаника”, и

русские зрители наконец приобщились к той белиберде, которую сейчас смотрит весь цивилизованный мир. Отличительным свойством творения Кэмерона является то, что любовный сюжет, призванный, как в таких случаях говорится, отразить трагедию, стал во всех отношениях главным, а самое страшное в истории человечества кораблекрушение оказалось слабоописанным фоном для совершенно несносной страсти нищего полублатного пупса к толстомордой аристократке.

Первые два часа сидишь и жалеешь, что “Титаник” никак не столкнется с айсбергом, оставшиеся полтора – отчасти компенсируют эти муки. \$200 млн дают о себе знать: блеск, с которым переданы технические детали катастрофы, собственно и гонит народ в кинотеатр – все приходят смотреть на вложенные деньги.

Психологических деталей нет вовсе, но для них существует другой фильм. Его сняли параллельно с первым, он параллельно демонстрировался в Америке и параллельно же был показан у нас – вечер среды и четверга на ОРТ отвели под “Титаник” Роберта Либермана.

В России это звучит абсурдно. Если Пупкин собрался ставить – неважно, “Анну Каренину” или “Трех поросят”, – для Пупкина, мечтающего о том же, это становится жизненной трагедией: доступ к “Карениной” и “Поросятам” перекрыт минимум лет на десять. Такова максималистская русская

традиция, исключая легальное двойничество. Американская – буквально противоположна. Для тех, кто не довольствуется одним техническим блеском, есть еще и психологическое шоу, вполне унылое. Оно в десятки раз дешевле, и там с десятков дополнительных историй.

Показательно, что количество денег обратно пропорционально нарративности: фильм Либермана – очень плоский, но это Пруст по сравнению с Кэмероном. Вдвойне показательно, что некоторые сюжетные ходы и даже мизансцены в картинах совпадают буквально: я почти уверен, что никто ничего не крал, а все любовно договорились – у зрителя будет больше доверия, речь ведь идет об одном и том же.

Такое последовательное разворачивание именно сегодня взволновавшей всех истории имело и свой апофеоз: на днях “Christie’s” удовлетворил совсем жадных до подробностей, устроив аукцион по продаже SOSов с “Титаника”. SOSы оценивались по-разному, но по цене доступной, от \$4 тыс. до \$10, – надо полагать, в зависимости от степени отчаяния. Жизнь развивается стремительно: в дни триумфа “Списка Шиндлера” золотые зубы из Освенцима, кажется, на “Christie’s” не продавались.

Февраль, оказывается, был; значит, “мело, мело по всей земле, во все пределы”, заметало Газетный переулок, где находилась редакция нашего “Телеграфа”; смеркалось рано; наверно, из окна пятого этажа видны были верхушки дере-

вьев, занесенные февральским, пастернаковским снегом – “засыплет скаты крыш”, любимые стихи. Посмотрю на гугл-картах: есть ли там деревья? Росли ли они 24 года назад, или привиделось мне? – да, Гугл показывает и переулок, обновленный “собянинской” плиточкой, и деревья, подозрительно моложавые, в густой майской листве, и под деревом какой-то хмырь в синей куртке тупит в мобильник. Хмырь! Подними голову! В этом доме на пятом этаже четверть века назад, в коридоре, на подоконнике, я курю и жду Шуру, он торопится, но не халтурит, блеска не снижает. Текст – превыше всего! А уж потом метель, московские переулки, ну что, возьмем такси? В Дом кино?

Счастливые – написали, облегчились, снесли яйцо, сдали номер, – мы едем в ресторан Дома кино, на Васильевскую улицу. Я писала об этом в очерке, сочиненном по другому поводу; приведу из него отрывок.

В конце девяностых мы с приятелем ходили в ресторан Дома кино. Был какой-нибудь там холодный май, или, наоборот, жаркий июль, хотелось прогуляться по еще не разрушенной Юрьмихальчем Москве и, нагуляв аппетит, выпить и закусить в душевном месте.

Тогда во многих ресторанах было дорого и пафосно. Нельзя было, например, просто прийти и усесться за стол. Нет, это была целая процедура: официанты выступали откуда-то из лепнины и с мертвенно серьезными лицами вставали за ваш стул, ухватившись

за спинку. Вы подгибали колени, и они вдвигали стул под ваш зад, всё как в лучших, пусть и мифических домах Филадельфии. Так же серьезно и мертвенно следили они за тем, как и какой вилкой вы заносите еду в рот; опустела ли ваша тарелка – тогда робот забирал ее у вас; полон ли ваш бокал – робот пополнял его.

Стоило достать сигарету – специальный не улыбающийся человек уже совал вам горящую зажигалку в морду, хотя каждый, кто когда-либо курил, знает, что это занятие не столько про насыщение легких никотином и смолами, сколько про ритуал, – достать, повернуть, прикусить, еще повернуть, предвкушая, понюхать свежий табак, отложить на потом, на после кофе. Засунуть за ухо, в конце концов. Погладить зажигалку. Поцеловать зажигалкой, полюбоваться пламенем, похожим на лисий хвостик. А внутри будто семечко. Наконец, медленно, кайфуя, поджечь сигарету, вдохнуть дыму и выдохнуть голубое облачко. А кто умеет – выпустить колечки.

А тут так всё оборачивают, словно ты не себе в удовольствие куришь, а официанту. Или заведению. Изображают Европу, как они ее понимают.

Так что мы искали кабаки простые, и, как сказано выше, душевные. Таким был ресторан при Доме кино. Туда не всякого пускали. А нас пускали. Приятель мой имел прямое к кино отношение, многие его знали и тихо кивали издали, официантки помнили его вкусы, музыки никакой, божье упаси, не звучало, меню было богато-

советское, номенклатурное, сытное.

Так, на закуску мы брали “тарталетки” – крошечные такие формочки из теста, наполненные либо говяжьим паштеймом, либо сырно-чесночной смесью. Брали салат из узбекской зеленой редьки с крепко, до хруста зажаренным репчатым луком; способ приготовления такого лука много лет оставался для меня загадкой, пока я не догадалась поуглупить и узнать, как это готовится. Брали салат “столичный”, по старой микояновской традиции подававшийся в порционных квадратных пиалах. На кухне засел какой-то умелец, украшавший салат лепестком соленого огурца: лепесток срезался наискось, надрезался до половины и сажался на салатный холм подобно спортсмену, севшему на шпагат. Брали вареное яйцо, фаршированное грибами. Боком вилки счищали лишний майонез – залито было щедро. Потом – борщ, по-настоящему алый, с рыжим отливом, с кляксой сметаны. Потом – о нет, на потом никогда уже сил не хватало, но понятно было, что бывает потом: мимо нас проносили блюда, от которых веяло ветром купатным, котлетным, шашлычным.

Пили водку. Были мы тогда еще относительно молодыми и почти совсем здоровыми, водка нам была нипочем, и мы выпивали и обедали, и расходились по домам такими же свежими, трезвыми и прямоходящими, какими и пришли.

Рамы на окнах были основательные, деревянные, окна – приоткрыты, лето задувало в них теплым

ветром, гоняло тополиный пух. На стене висело и вешало художественное, прости господи, панно во вкусе первой, еще хрущевской оттепели, на окнах – блестящий синтетический тюль; иногда за дальними столами истуканами сидели легенды советского кино, постаревшие, выпавшие из истории, уже ненужные, но бессмертно прекрасные. Последний советский остров таял, таял и всё никак не мог растаять; время обтекало его.

Зал ресторана был большой, и когда там справляли поминки, то доступ завсегдатаям не перекрывали: вот тут накрыли длинный стол и поминают усопшего, а вон там тихо жуют и чокаются те, кого горе пока еще не постигло.

Мы были свидетелями такого эпизода: вот стенд на ножках с портретом усопшего (например, Толя, режиссер, из Ростова-на-Дону, нестарый), вот вдова в ярко-синем платье, вот товарищи, сначала скорбные, потом, по мере поглощения вкусной водки и люля с красной капустой, всё боле, боле, боле разгорающиеся; вот все уже хорошо набрались и шумят; вот в зал входит “кто бы вы думали? сам крокодил” (зачеркнуто) – сам Никита Михалков в белом костюме. Белом. Скорбящие кидаются к нему, им всем что-то надо от божества; все они бобчинские и добчинские, а тут такой случай, повезло; даже вдова, обдергивая люрекс, устремляется к небожителю: уж ее-то он выслушает, ей-то не откажет; Михалков мягкой лапой отстраняет просящих; задевают стенд с Толей, Толя срывается с кнопок, скользит на пол и под стол;

его кое-как вылавливают и прикнопливают на место.

Вот так помрешь, – говорим мы с Шурой друг другу, – а жизнь-то идет себе вперед, и порой даже явление Михалкова народу можно наблюдать, а потом врать своим ребятам, как он подошел, как был участлив, как спросил, не надо ли чего. Давайте напишем сценарий, – говорим мы с Шурой, – это же готовый фильм. Давайте! Давайте назовем его “Умер-шмумер”. А Михалкова кто сыграет? Да попросим его выступить как cameo. Быстро набрасываем идею сценария, возмемся, запутываемся, выпутываемся, договариваемся, забываем навсегда.

Шура любил русскую кухню с советским уклоном, то есть блюда из “микояновской” “Книги о вкусной и здоровой пище”, а там ведь и щи, и тут же харчо, шашлык и котлета по-киевски, оливье (под псевдонимом “салат столичный”), и таджикский салат из зеленой редьки, – вся Российская империя. Но Дом кино стал портиться, и мы перетекли в кавказские рестораны – армянские, азербайджанские, – а мы космополиты, мы имперцы, мы не различаем.

Был Сим-Сим – как выйдешь из метро “Баррикадная”, так сразу; много маленьких шалманчиков в саду, обнесенном стеной; прообраз народного Рая, – шумно, жирно, курдючно, очень громко поют все сорок гурий, очень вкусно. Был армянский ресторан “У Бурчо” рядом с Савеловским вокзалом, страшный с виду – фанерные рейки, обтянутые полиэтиленовой пленкой; ресторан этот считался самым армян-

ским и самым вкусным в Москве, на асфальте перед ним была расстелена искусственная зеленая трава и припаркованы Майбахи и Бентли. Хозяин там вел себя очень аутентично: выходил из-за кулис, смотрел на тебя бычьим взглядом, и, не успев ты разинуть рот, чтобы сделать заказ, сам сообщал тебе, что ты будешь есть и сколько. Ты пытаешься возразить... спросить... нет, он сказал тжвжк, значит, тжвжк.

Шура любил заведения простые и с виду непритязательные, – они ему казались аутентичными. Когда “Бурчо” переехал в пафосное место, на красивой набережной, облицовал весь интерьер мрамором и расставил скульптуры – почему-то – индейцев, Шура потерял к нему интерес. Иногда его вера в народ доходила до абсурда: мы с ним как-то ездили в Таиланд, и он там вертел головой в поиске аутентичного, и мне стоило невероятных физических усилий и истощающих криков оттащить его от группы каких-то совершенно антисанитарных дорожных рабочих, которые, разведя костерок из мусора на обочине пыльного шоссе, жарили какие-то дизентерийные креветки. По-моему, он даже обиделся. “Танечка, но ведь это настоящее! Народное!”

Весь облик его был соединением низкого с высоким: неглаженная рубашка в клеточку, мятые шорты, осенью – вельветовые штаны, отвисшие на коленках, сандалии, и надо всем этим – седеющая голова римского патриция, а может быть и Ашшурбанапала, последнего великого царя Ассирии.

Он завел себе пса, неаполитанского мастифа, такого же

огромного, как он сам, и такого же неожиданно доброго и мягкого, хотя и предназначенного для охоты на львов.

– Танечка, я думал: какое имя соединило бы в себе Рим и Великий Новгород? Одно-единственное: Тит.

И назвал мастифа Тит.

* * *

Был азербайджанский кабак “Чемпион”, расположенный ровно на полпути между нашими домами: от меня 700 метров и от Шуры 700 метров; если одновременно выйти из дому, то можно сойтись в нужной точке в назначенную минуту; но Шура любил опаздывать, и обычно его приходилось ждать.

Обстановка там была достаточно убога, чтобы понравиться Шуре: в тесном зальчике накурено, на спинках стульев – налет жира, на окнах – синие атласные ламбрекены с бубенчиками, словно в купейных вагонах поездов дальнего, очень дальнего следования.

В архитектурном смысле “Чемпион” был сараем, сколоченным на скорую руку из горбыля и кое-как втиснутым между стеной дома и раскидистым деревом; когда его наконец снесли (разбив мое сердце), стало видно, что этот самострой сидел прямо на древесных корнях и мог обрушиться в любой момент.

Но не столько есть мы туда ходили, сколько говорить. Го-

ворить, говорить, говорить – обо всём. Плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые, судьба и жизнь в свою чреду, всё подвергалось их суду. В какой-то момент все эти наши слова, наши мысли о культуре, о литературе русской и мировой (переплелись – не расплести!), эти бесконечные цитирования строчек, перескакивания со стихотворения на стихотворение, с мысли на мысль, с Блока на Пастернака, с Ахматовой на Ахматову и обратно на Ахматову, эти попытки понимания стали требовать какого-то выхода; пора было переносить наши разговоры на бумагу. Трын-деть – не мешки ворочать, а вот писать – именно что мешки. Договорились писать диалоги. Не эссе, не очерки, не попытки научного исследования, а просто диалоги, разговоры двух людей про всё на свете, что кажется нужным, важным, интересным, глупым, глубоким, смешным.

Подход был двоякий. Либо мы брали тему (например, “Сон и скука”) и развивали ее по собственному усмотрению, перезваниваясь и договариваясь: “вы двиньте смысл вот в эту сторону, а я тогда подхвачу и сделаю вот так”, либо брали небольшой, но прекрасный текст и пробовали его разобрать, развинтить до последнего винтика, до дна (только чтобы обнаружить, что в гениальном тексте винтиков нет, дна нет, а открывается всё новая и новая глубина). Таков наш диалог “Светящийся череп”.

Были попытки бесплодные, задачи неподъемные. Например, за Льва Толстого мы брались множество раз – и каж-

дый раз отступали перед грандиозным величием этой тысячеэтажной конструкции. Начать хотели со знаменитой сцены в “Анне Карениной”, где Стива Облонский обедает в дорогом трактире с Константином Левиным, альтер эго самого Льва Николаевича. Стива, гурман, бонвиван и гедонист, обдумывает каждую строчку меню... Он наслаждается... Он закажет устрицы и тюрбо... А Левин строит из себя такого простого, от земли, хозяина (и сам верит в этот свой образ): какая разница, что есть? “Мне всё равно. Мне лучше всего щи и каша, но ведь здесь этого нет”. И, услышав его слова, к нему склоняется татарин-половой: “Каша а-ля рюсс... прикажете?” Нас восхищало, как Толстой одним щелчком, вот этим “каша а-ля рюсс”, опрокидывает своего любимца, своего альтер эго с его неуместной во французском ресторане повесткой. Вся эта сцена – одна из самых виртуозных в русской литературе. Читатель одновременно и наслаждается изысканной, дорогой едой вместе с одним из героев, – и тут же ничего не чувствует, не замечает вместе с другим, даже того, что обед стоил бешеных денег. Как описать, как передать это объемное зрение Толстого, его умение одновременно находиться и внутри, и снаружи своих персонажей? Как об этом говорить?

Раз не получается с Толстым, решили тему сузить – и одновременно расширить, то есть проследить, например, упоминание и описание еды в основных русских текстах и осмысление ее у разных авторов: что едят, почему едят, в

каком смысле едят...

Еда как Эрос и Танатос – такая была рабочая идея. А там как пойдет.

Начать хотели с Державина, с чистой и яркой живописи, без полутонов, что твой Малевич (“багряна ветчина, зеленцы с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь – икра, и с голубым пером там щука пестрая: прекрасны!”), и через Пушкина, который, похоже, обжорой не был, он как раз по части эроса (“у податливых крестьянок, – чем и славится Валдай – к чаю накупи баранок и скорее приезжай”, причем баранки тут для большей игривости), через вечно голодных разночинцев (“питаюсь чуть не жестию, я часто ощущал такую индигестию, что умереть желал”), выйти на “Сирену” Чехова (“жареные гуси мастера пахнуть, – сказал почетный мировой, тяжело дыша”).

И уже на исходе золотого века русской литературы, когда скоро всему конец, когда всякая плоть прощай, когда лишь дух ушедшего столетия витает в воздухе умирающих, исчезающих, истаивающих дворянских усадеб, – антоновские яблоки Бунина, догадавшегося, поймавшего, уловившего этот тонкий запах смерти, этот взмах черного крыла Танатоса: прощай, навек прощай!

Ну, и дальше: XX век, Юрий Олеша... я предвкушала, я знала, как ловко Шура перебросил бы смысловую дугу из века XVIII-го в век XX-й, как закольцевал бы державинскую ветчину с олешинской колбасой! Отодвинув свои тарелки,

прихлебывая чай с чабрецом, мы перебирали, голова к голове, всю известную нам литературу, строили сценарии, бродили по тропинкам и закоулкам русской словесности, выискивая еду реальную и метафорическую: “и огурцы, как великаны, прилежно плавают в воде” – годится... А вот: “над грудой рюмок, дам, старух, над скукой их обедов чинных свет электрический потух” – берем? Пока берем, а там посмотрим. А Анна Андреевна вообще ничего не ест, ну разве что “водою пахнет резеда, и яблоком – любовь”, но тут, собственно, яблока никакого и нету. То же и Цветаева: “яблоком своим имперским, как дитя, играешь, август”. То же и Крандиевская: “яблоко, протянутое Еве, было вкуса – меди, соли, жёлчи”... Это же не яблоки, это другое. А может быть, давайте все вообще яблоки соберем – и воспарим? Тут и Мария Петровых, и Арсений Тарковский. И Гандлевский – “это яблоко? нет, это облако”! А вот, смотрите, Пастернак до чего был дотошный: “по соседству в столовой зелень, горы икры, в сервировке лиловой семга, сельди, сыры”... Даже неловко как-то за него, за эту рифму: икры – сыры... Елисеевский магазин какой-то... А у него такой каталог жратвы, что она уже сама по себе обильно рифмуется... думаем, что тут просвечивает, о чем тут можно сказать.

...Господи, как же он всё знал, понимал, как он летал, реял над текстами обожаемой нами обоими русской литературы, как удивительно растолковывал смыслы, углубляясь, и зарываясь, и завираясь, какие подвалы и чердаки находил в

забытых текстах, — я и не знала, не слышала о них! Как я его любила!

Так и не написали ничего. Поленились. То, что называется: пар ушел в свисток. А потом и “Чемпион” снесли. Сам кабак с хозяином и поварами переехал куда-то в дальний район, и мы потеряли его из виду. Поезд, покачивая синими ламбрекенами, ушел. “На кухне вымыты тарелки, никто не помнит ничего”.

* * *

Не могу себе простить всего этого недописанного, профуканного, профершпиленного, оставленного на потом. Ведь нет никакого потом.

У моей бабушки, Натальи Крандиевской, есть стихотворение:

*Там, в двух шагах от сердца моего,
Харчевня есть — “Сиреневая ветка”.
Туда прохожие заглядывают редко,
А чаще не бывает никого.*

*Туда я прихожу для необычных встреч.
За столик мы, два призрака, садимся,
Беззвучную ведем друг с другом речь,
Не поднимая глаз, глядим — не наглядимся.*

*Галлюцинации ли то, иль просто тени,
Видения, возникшие в дыму,
И жив ли ты, иль умер, – не пойму...
А за окном наркоз ночной сирени
Потворствует свиданью моему.*

Когда я прохожу мимо того клочка асфальта, на котором некогда стоял “Чемпион”, я всегда говорю себе эти стихи. Там теперь ничего нет. Только дерево и воздух.

* * *

Мне кажется, что вот, я допишу этот текст – и надо будет показать его Шуре: одобрит ли?

Шура! Шура! Позвонить можно?.. Вы же не спите?..

Диалоги

Татьяна Толстая – Александр Тимофеевский

Истребление персиян

За что народ любит поэта

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ:

Возьмем такую тему: каких поэтов любит народ – и за что он их любит? Под народом будем понимать разное, но постараемся осторожненько держаться такого определения: это довольно большая, культурно более или менее однородная группа населения, бессознательно ориентированная на общие мифы, на общие парадигмы. Вот так осторожно определим и отойдем, чтобы оно не упало и не развалилось, потому что если не дай бог свалится, то на голову.

Приведу пример общей парадигмы, имеющий отношение к нашей теме. Есть такой взгляд на вещи: отличие западной культуры от восточной состоит, среди прочего, в том, что культурный герой Запада – Рыцарь, Воин, культурный герой

Востока – Трикстер, то есть Жулик. Это будет проявляться во всём: с одной стороны, романтический герой, защитник, верное джентльменское слово, честный купец, культура прямого высказывания, – “да” значит “да”, а “нет” значит “нет”, и никак иначе; документальность, хроники, саги, индивидуализм, уважение к закону, протестантская этика. С другой стороны – уклончивость, не прямые смыслы, обманы-туманы, уход от открытого боя, ложь всех видов, включая высокопоэтическую, лесть, многослойность, каламбуры, сказки, лукавство, хитроумие. Западная телесность противостоит восточной духовности, разламываясь именно по этой линии: там побеждают мечом, здесь – умом. Трикстер древнее, народнее, глубже, опаснее, чем прямолинейный, поздно сформировавшийся Рыцарь, идеалистический раб чести и роз. Посмотрите хотя бы на фотки с Ялтинской конференции...

Но и внутри одной культуры, конечно, идет расслоение: герой высших классов – Рыцарь (князь, самурай), герой народа – Трикстер (Ходжа Насреддин, Иван – крестьянский сын). Ибо, напомним, по Пригову:

*Народ – он делится на ненарод
И на народ в буквальном смысле
Кто ненарод – не то чтобы урод,
Но он ублюдок в высшем смысле...*

Это вот мы с вами ублюдки в высшем смысле, и давайте об

этом помнить и не приписывать, зажмурившись, наши ценности народу, а будем все-таки подсматривать одним глазком.

Так вот, в свете этой теории к Пушкину народ равнодушен. Напрасно А.С. кипятился: “и долго буду тем любезен я народу, что ...милость к падшим призывал”. Народу – настоящему народу, а не культурным господам, – такая добродетель пофигу. Ну призывал, ну не злой, что с того? И погиб он как Рыцарь, то есть из-за бабы, то есть глупо. Беспонтово. Я уж не говорю о том, что Пушкин – не свой, понаехавший, арапчик, неведома зверушка, и за то уже, что народ относится к нему неплохо – благодушно и терпимо – низкий народу поклон.

Впрочем, Пушкин – всё же особый случай, “наше всё”, и подлежит особому разговору. А вот истинно народных любимцев – двое. Их тексты – священные, портреты приравнены к иконам, могилы – место культа и жертвоприношения и т. д. Это – Есенин и Высоцкий. Хорошие поэты, но в пантеоне образованного класса всегда занимавшие второе место: Есенин идет вторым после почти любого своего современника (при том, что есть и третий ряд), Высоцкий – вторым после Окуджавы. Почему же эти двое зацепили сердце народное? На этот счет есть у меня гипотеза, которую я таскаю в зубах уже лет пятнадцать, – во рту она держала кусочек одеяла и думала она, что это ветчина. Я вот сейчас вам эту ветчину изложу.

Прислушайтесь: народ, даром что слушает попу кругло-суточно, сам ее, слава господу, не напевает, на свадьбах-женитьбах, упившись в сосиску, под гитару не мурлыкает. “Ой, мама, шикадам” не споют над винегретом и холодцом, так же как в советское время пропеть за столом “ЛЭП-500 не простая линия” мог бы только освобожденный комсомольский работник либо олигофрен.

Подчиняясь одному ему ведомым законам, народ пшено клюет, а просо не станет. Гжель он любит, а Палех ему чужд, это для “Интуриста”, так же как “Калинку-малинку” давным-давно уступили “Интуристу” и не жалко. А вот интеллигенция подвывает свой “Синий троллейбус”, любезный ей как раз тем, что он оказывает милость падшим: “твои пассажиры – матросы твои – приходят на помощь”.

Добродетель эта, повторяю, совершенно не народная. Да и мысль о том, что “в молчаньи много доброты” – это мысль экзистенциально одинокого, высокоорганизованного нервного существа, а народ любит, чтобы включили погромче, сами знаете.

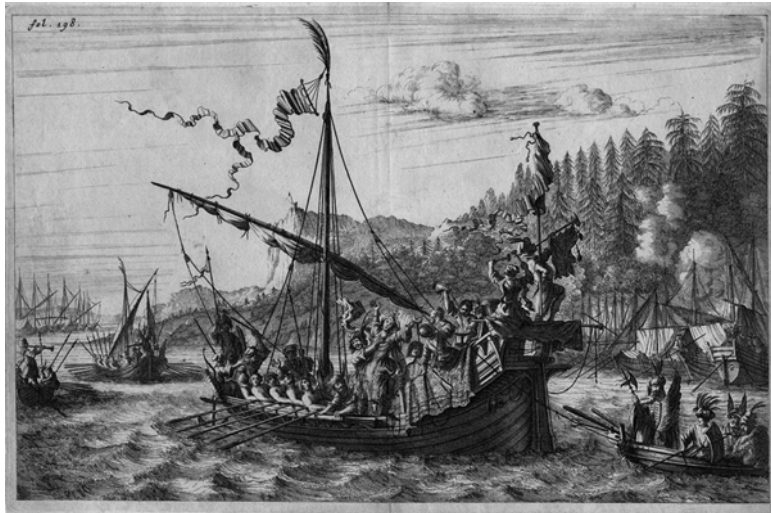
Так что поют? – в основном протяжное и печальное, или, хотя бы, задумчивое.

Из старого – “На палубу вышел, а палубы нет”, “Догорай, гори, моя лучина”, “По Дону гуляет”, “А брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами гремит”, много разнообразного про ямщиков, “Ой, мороз, мороз”, “Когда б имел златые горы”. Из более-менее нового – “Эх, дороги, пыль да туман”,

женские песни: “Сняла решительно пиджак наброшенный”, “На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет”. Еще – “Каким ты был, таким остался”, “Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь”. Заметьте, все вещи – хорошего вкуса. Вполне себе гуманистические.

Но едва ли не самая исполняемая песня – “Из-за острова на стрежень”. Поется с удалью, размахом и торжеством. Глаз блестит. “И за борт ее бросает в набежавшую волну!” Так ее! Ура! И опять процитирую Пригова, ибо к месту:

*Так, во всяком безобразы
Что-то есть хорошее.
Вот герой народный Разин
Со княжною брошенной.
В воду бросил ее Разин,
Дочь живую Персии.
Так посмотришь – безобразье,
А красиво, песенно.*



Ян Кип. “Степан Разин бросает в Волгу персидскую принцессу”.

Вот скажите честно, вот глядя мне в глаза: разве это не ужас? Вот отсмеявшись – если есть такое желание, – скажите, это ли не кошмар? За что так княжну? Народ, уже полтора ста без малого лет не могущий забыть Муму, ежеприздно, ежесвадебно одобряет жестокий, бесчеловечный поступок своего любимого героя, да собственно, этот поступок, в ряду других бесчеловечных подвигов, и делает Стеньку народным любимцем. “Позади их слышен ропот: нас на бабу променял” – вообразите себе этот ропот среди “матросов” синего троллейбуса. Совершенно другая команда.

Итак. Стенька Разин. Его поведение – антисоциально: он лихой разбойник, он пьянствует и буйствует. Ему удастся заполучить в “жёны” экзотическую заморскую принцессу – персидскую княжну – эвона! Но ревнивые товарищи указывают ему на опасность обабиться. И он выкидывает княжну за борт. Понты дороже денег. Красиво, песенно.

Сергей Есенин. Его поведение антисоциально: он строит из себя разбойника, златокудрого “хулигана”, он пьянствует и буйствует. Ему удастся заполучить в жёны экзотическую заморскую принцессу – Айседору Дункан, танцовщицу-босоножку, – эвона! Но нет счастья буйной головушке в буржуазном браке. И он выкидывает Айседору за борт. Красиво, песенно.

Владимир Высоцкий. Его поведение антисоциально: он не считается с властями и сочиняет возмутительные песни. Он пьянствует, пользуется наркоту и буйствует. Ему удастся заполучить в жены экзотическую заморскую принцессу – Марину Влади, “колдунью”, – эвона! Но она тут не одна такая, есть и другие прекрасные женщины, потеснись, Марина. Марина теснится. Красиво, песенно.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ:

Дивный ваш текст, очень красивый. По нему понятно, что такое “как струится поток доказательств несравненной моей правоты”. Это – когда прервать невозможно (как посмететь? куда влезть?), а согласиться – невозможно тем более.

Вот вы говорите, “герой Запада – Рыцарь, Воин... чест-

ный купец, культура прямого высказывания: «да» значит «да», а «нет» значит «нет». Бог с ним с “честным купцом”, который совершеннейший оксюморон, ибо честный купец – плохой купец, и лживый быстроногий Гермес тому порукой. Прибавочная стоимость от честности не образуется.

Но кость, брошенная вами плоскому Западу – подавись, не жалко, – “культура прямого высказывания – «да» значит «да», а «нет» значит «нет»” отнимает у него, у Запада, всю поэзию, всё вообще искусство, все туманы и обманы. Потому что какая же без них художественность? Нет у западного героя художественности: всласть помахав мечом, он читает мораль, прямое культурное высказывание, а потом, огордившись, запасаясь крупной индивидуализма и протестантской этики, возделывает свой сад, беспросветно унылый, как брюссельская бюрократия.

Понимаю. Мы так с вами любим нашу русскую культуру, мы так в ней погрязли, что, какой, прости господи, Запад: ему неведомы многослойные оттенки смыслов, которые есть по-русски. И всё же Данте и Шекспир, Шодерло де Лакло и Гёте тоже не зря корячились, не самые элементарные были парни. Это я к тому, что Запад все-таки не сводится к Романо Проди. И потом он многоликий – Запад, конечно, не Проди.

“Западная телесность, – говорите вы, – противостоит восточной духовности, разламываясь именно по этой линии: там побеждают мечом, здесь – умыслом”. Не уверен. Можно ведь наоборот: здесь побеждают мечом, а там – умыслом,

тоже выйдет красиво, тоже будет похоже.

Но в чем я точно уверен: нет восточной духовности – нет и западной телесности. Телесность против духовности – это не ось “Восток – Запад”, это ось “Юг – Север”. Телесность – южной, сладострастной, итальянской природы, задумчивость – северной, рефлексивной, немецкой. И всё это – Запад.

Духовное vs. плотское – это христианская, то есть западная антиномия. Потому что христианство – тоже Запад, причем не только в папском, но и в патриаршем, византийском облики. Всё это – Европа: Константинополь так же, как и Рим. Европа ведь покоится на трех китах – не на политкорректности, мультикультурализме и домах высокой моды, как толкуют наши газетчики, а на греческой мысли, римском праве и еврейской вере. И на этом же покоятся все наши представления о добре и зле, об устройстве мироздания, сам способ мыслить, сопоставлять, опровергать и прозревать.

Смотрите, ваши Рыцарь и Вор – типичная европейская пара, жулик ваш лстивый – из плутовского романа, богатая за ним традиция, увенчанная Феликсом Крулем; ох, не китайский, не афганский это был писатель, Манн – не Талибан.

И всё западное, только западное, дорого нам, нужно, необходимо, потому что служит одной любви – к русской поэзии и литературе. Такая выходит у нас с вами суверенная демократия. В этом смысле – неважно, высоком или низком, – мы действительно ублюдки.

С народом проще, говорите вы. Он Запада не знает и лю-

бит своих – Есенина и Высоцкого, а не понаехавшего Пушкина. Так ли? И уж точно так было не всегда. “Цыган” читали навзрыд, как “Москву кабацкую”, автора “Руслана и Людмилы” носили на руках, как артиста с Таганки. Но это ноль целых, хрен десятых говоривших по-французски, величина статистически ничтожная, Саша пишет Лизе, Лиза пишет Саше, и страшно далеки они от народа, – скажете вы, – народ же Пушкина не знал. Конечно, не знал.

Но не потому, что статистически ничтожные говорили по-французски, а потому, что все остальные не читали по-русски. Как узнать-то? “Но недоступная черта меж нами есть. Напрасно чувство возбуждал я”. Безграмотный народ напрасно возбуждал свое чувство, а когда научился читать, поезд ушел далеко, Пушкин взлетел в небо опекушинским памятником, и на него птичка сто лет какает.

Недоступная черта стала еще недоступнее. А тогда, в начале XIX века, это была чисто техническая преграда, всего лишь безграмотность – big deal... Легко решаемая задача, как мы теперь понимаем. Бывают задачи и посложнее: вот на счет “три”, не в Саше, может быть, и не в Лизе, но в барышне-крестьянке таится тунгус, и изжить его никак не выходит. Барышня на то и крестьянка, что баре тоже народ.

Так что обожание статистически ничтожных можно смело экстраполировать на всю нацию; и получим ту повальную любовь, которую сам Пушкин задокументировал в “Памятнике”. И ныне дикий должен был откликнуться во времени,

потому что уже отозвался в пространстве.

Тут меня легко поймать за руку и возопить: “не смейте экстраполировать! караул! воруют!”; “Руслан и Людмила”, “Цыгане” – дворянская поэзия с меланхолией и романтизмами, которых постигший грамоту мужик постигнуть не в состоянии. Но этот крик только кажется неотразимым, на самом деле он – пустой. Говорившие по-французски и обожавшие Пушкина в начале двадцатых годов тоже ведь не могли его постигнуть, что всего лишь через несколько лет сделалось наглядным – “и альманахи, и журналы, где поученья нам твердят, где нынче так меня бранят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда”.

Читатель, даже самый преданный, не понимает больше четверти написанного, и грамотность эту беду никак не поправляет. Низкий поклон дорогому образованному читателю, если он хоть что-то как-то понял. Говорящий по-французски читал мимо Пушкина одним способом, мужик это делал бы иначе, чья четверть вышла бы увесистей – большой вопрос.

Вот вы упомянули как народную песню “Лучина”, ее все считают народной, и народ – тоже, это главная наша песня, а она ведь авторская, дворянская, пушкинского времени: романс Варламова на стихи Стрмилова. Из всего романа поют первые два куплета, три последние всё больше отбрасывают, в том числе такие стихи:

*Не житье мне здесь без милой:
С кем теперь идти к венцу?
Знать судил мне рок с могилой
Обручиться молодцу.*

*Расступись, земля сырая,
Дай мне, молодцу, покой,
Приюти меня, родная,
В тесной келье гробовой.*

Немецкие эти романтизмы с годами вытерлись, как коврик в прихожей, и какой был узор – не разобрать, и вообще громоздкое обручение с могилой за пьяный русский стол не усадишь, не стыкуется оно с селедкой под шубой, поэтому ну его. А ведь можно и так. Два куплета из пяти – это даже не четверть, это целых 40 % песни – огромное понимание. И потом: “то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит”, “догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я” – это так пронзительно прекрасно, что о чем еще петь дальше? Остается только мордой в салатницу, глубоко под шубу – в тесную келью гробовую. Всё народ понимает правильно.

Это я к чему говорю? Ваш выбор народных избранников – Есенин и Высоцкий – точный, но куцый. Без Пушкина – никуда; без Блока – тоже.

Имя его – пять букв – вся Россия повторяла. И вся Россия слышала, как, медленно пройдя меж пьяными, приближается звук. И покорны щемящему звуку сестра милосердия

с широко распахнутыми глазами и адвокат, кутающийся в плед под пальмой, и телеграфист, покрасневший с мороза, и курсистка-модистка-бомбистка, и мальчики да девочки, веточки да вербочки, и барыня в каракулях, жестоковейно брошенная им на тротвар.

Все они им созданы, одним им заворожены. И все напряженно всматриваются: как там матрос, на борт не принятый, идет, шатаясь, сквозь буран. Неужто то был не народ? Конечно – народ. Но нам его не опознать. Он распался, растаял, разбежался, исчез, пропал в сказочно короткий срок – был, и весь вышел. По Блоку, кстати, виднее всего, что народ не столько социальное, сколько временное понятие: есть народ Пушкина, народ Блока, народ Есенина, народ Высоцкого, и это не одна и та же общность – в чем-то очень схожая и очевидно различная, она всякий раз проживает жизнь со своим поэтом и вместе с ним кончается.

Но модель отношений “поэт – народ” пребывает неизменной – и с Пушкиным, и с Блоком, и с Есениным, и с Высоцким.

Почему эти четверо? Дело тут не в популярности – много званных. Надсон и Северянин, Евтушенко и Асадов тоже гремели – и что с того? И не в гении, не в масштабе личности: Есенин и Высоцкий – любимые, прекрасные поэты, но даже взятым вместе и помноженным на десять им далеко до Блока, не говоря уж о Пушкине. Но этих четверых легко поставить в ряд – понятно сразу, о чем речь.

Все четверо – страдальцы. Все четверо неминуемо шли к своему концу. Во всех четырех жизненных сюжетах движение было встречное: современники вели поэта к гибели – по равнодушию или сознательно – и сразу возносили за муки, ему причиненные. Рифма “любить-губить” справедлива во всех четырех случаях.

Четыре разных поэта и – что не менее важно – четыре разных народа, а архетип один. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним, где “она = поэт” или “она = народ”, можно и так и эдак, и эта путаница – принципиальна. Вы, впрочем, нашли ближе источник – “Из-за острова на стрежень”, – но драма, по-моему, там другая. Айседора с Мариной, как говорят нынешние пошляки, нервно курят в сторонке.

Что вас возмущает в людоедской песне? Что женщину за здорово живешь выкинули за борт? Так это ж метафора. Что метафора утверждает гендерное неравноправие: мол, курица не птица, Польша не заграница, баба не человек? Что гребцы одержимы кровавой развязкой? Что ее до сих пор поют-воспевают? Разумеется, это мерзко: живое и теплое существо взяли и умертвили, безответную женщину – как кошку.

Но ведь то была не женщина, а Прекрасная Дама. Живое и теплое существо в ней и Блок умертвил; по крайней мере, Дама именно так полагала – и целую книжку об этом настроила. А бессмертные стихи писались – о другом.

Так и здесь. “Нас на бабу променял” это еще и “нас на

тайну променял”, и “нас на веру променял”, и “нас на душу променял” – марш, душа, на дно. Разин душу в реке хоронит. Об этом и песня. Вспомните:

*– Ничего не пожалею,
Буйну голову отдам, —
Раздается голос властный
По окрестным берегам.*

Он свою буйну голову отдает, свою княжну – не чужую. Княжна – душа, Психея, прекрасное заморское сокровище, вожделенное, несказанное. Персиянка. Шамаханская царица – как дьявольское искушение, Царевна Лебедь – как волшебный помощник. Райская птица. Дар напрасный, дар случайный. В реку его.

“Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия <меня>, как чушка своего поросенка”, напишет Блок перед самой смертью. А сразу после – сложатся стихи: “Принесли мы Смоленской заступнице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе серебряном наше солнце, в муке погасшее, – Александра, лебедя чистого”. Царевича Лебедя. Райскую птицу. Персиянина.

Как к этому относиться? Как к ужасу и позору, как к вечному русскому наваждению, повторяющемуся из века в век? Не знаю. Древние римляне, хранившие веру отцов, с дрожью наблюдали, как их сограждане, перешедшие в христианство, каждое воскресенье отправляются в храм есть свое-

го бога. Не будем уподобляться трусливым язычникам. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.

ТАТЬЯНА ТОЛСТАЯ:

Ну вот, пожалуйста: вы начали с криков протеста, местами переходящих в страстные гимны западной культуре, как будто кто ее у вас отнимает, а закончили тем, что опознали в Блоке еще одного персиянина...

Быстренько отмету ваши возражения: ну конечно, Запад непрост, конечно, многолик, конечно, он пропитан Востоком как ромом, равно как и в Востоке запечено много западных орехов; конечно, мы с вами на Западе замешаны, как на сметане и обсевках муки – колобок; конечно – да-да-да, мы всё это любим, но – Восток древнее Запада, а потому и глубже, и мудрее, и мудренее; Восток был всегда, а Запад образовался после и в результате римских завоеваний; но самое главное, Запад хочет наслаждений на этом свете, а Восток – на том; Запад – это тут, а Восток – это там, Запад – это явь, Восток – это сон; Запад – это форма существования белковых молекул, Восток – это: смерть, где твое жало?..

Но мы всё же не совсем о том. Мы о России, которая ни Запад, ни Восток, ни рыба, ни мясо, ни свет, ни заря. Каков наш ответ на заботливый вопрос: “Каким ты хочешь быть Востоком: Востоком Ксеркса или Христа?”, где Ксеркс, персидский царь – нам в тему – олицетворяет варварство, тиранию, самодурство и так далее, в противовес человеколюбию

и надрывной нежности, мыслимой в связи с фигурой Христа; так каков же ответ? – а без разницы, в том-то и дело!

Суть-то русского Востока от этого не меняется, суть его выкрикнута бешеным протопопом: “Платон, Аристотель и Пифагор... блядины дети, взимахуся выше облак... звездное течение поразумевше... мудри быша и во ад угодиша... тако их же, яко свиней, вши съели, и память их с шумом погибе...” – то есть: читал, знаю и ненавижу! истребить! за борт их! Вот вам, нате вам, в Европе (Запад) с XI века университеты, у арабов (Восток) Аристотель в почете, а тут “блядины дети”, все, без разбору, списком...

Да и как разберешь, где тут Ксеркс, где Христос, когда такая страсть, когда начальник Иван Родионович, рассвирепевши, “прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами”? “И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих” – это по-нашему, по-персидски. Аввакум, кстати, – современник Стеньки Разина.

А вот другой его современник, голландец Ян Стрейс, парусный мастер, собственно, и запустил рассказ о княжне, так как был свидетелем инцидента:

В один из последующих дней, когда мы второй раз посетили казацкий лагерь, Разин пребывал на судне с тем, чтобы повеселиться, пил, бразничал и неистовствовал со своими старшинами. При нем была персидская княжна, которую он похитил вместе с ее

братом. Он подарил юношу господину Прозоровскому, а княжну принудил стать своей любовницей. Придя в неистовство и запьянев, он совершил следующую необдуманную жестокость и, обратившись к Волге, сказал: “Ты прекрасна, река, от тебя получил я так много золота, серебра и драгоценностей, ты отец и мать моей чести, славы, и тьфу на меня за то, что я до сих пор не принес ничего в жертву тебе. Ну хорошо, я не хочу быть более неблагодарным!” Вслед за тем схватил он несчастную княжну одной рукой за шею, другой за ноги и бросил в реку. На ней были одежды, затканые золотом и серебром, и она была убрана жемчугом, алмазами и другими драгоценными камнями, как королева. Она была весьма красивой и приветливой девушкой, нравилась ему и во всём пришлась ему по нраву. Она тоже полюбила его из страха перед его жестокостью и чтобы забыть свое горе, а все-таки должна была погибнуть таким ужасным и неслыханным образом от этого бешеного зверя.

Вот так вот, а никакая не метафора. Перевод книги Стрей-са на русский язык вышел в 1880 году, и глаз плохого поэта Д.Садовникова немедля выхватил из объемной книги именно этот уголовный эпизод, а торопливые ручонки уже потянулись к перу, чтобы сочинить кривоватые, но мощные стихи, ныне существующие в нескольких вариантах: народ, признав свое-родное, поправил и отполировал. Текст этот упорно именуется “русской народной песней”; что ж, правильно

именуется.

Видите ли, народ любит своего разбойника; это западно-му человеку Стенька предстает бешеным зверем, а у нас это – ничего, нормально. Это западному человеку княжну, красивую девушку, жалко: в нем сидит Рыцарь, на глазах которого Чудовище надругалось над Прекрасной Дамой. Сама же персидская княжна у себя на родине еще, должно быть, и не то видела; позже, попав к персам в плен, парусный мастер тоже насмотрелся.

3 мая в Шемахе произошло отвратительное кровопролитие и самоубийство посреди свадебного веселья, когда жениха во время пира охватил сильный страх и беспокойство, что, как предполагают, было вызвано принятым им сильным ядом. Как бы там ни было, но несчастный жених умер через мгновение на руках своей возлюбленной. Все тут же принялись кричать и орать, так что свадебное веселье превратилось в печаль. Мать жениха взяла большой нож и, обезумев, распорола себе живот, так что вывалились кишки и внутренности, и она упала мертвой. Сестра выбежала, неистовствуя и беснуясь, из дома, срывая одежды с тела, вырывая волосы из головы, царапая лицо, груди и руки, и нельзя было себе представить, что такая нежная и слабая девушка своими собственными руками будет себя так терзать и мучить. Наконец она взбежала на высокую гору и сразу, не колеблясь, ринулась вниз и разбилась.

16-го в Шемахе снова было сильное землетрясение...

На следующий день шесть слуг хана опять убили человека палками.

22-го здесь по всем улицам, на всех углах били ужаснейшим образом палками одного юношу до тех пор, пока он наконец не упал на землю. Это произошло по приказу принца и по просьбе и настоянию родного отца юноши, знатного человека в Шемахе.

На другой день снова перед дворцом принца семь слугителей ужасным образом забили одного человека палками до смерти.

Ну а 9 июня один перс привязал к деревянному кресту свою жену, польскую рабыню, содрал с нее живой кожу, выбросил освежеванное тело на улицу, а кожу приколотил к стене, в назидание другим своим женам. На этом фоне Степан Тимофеевич – просто галантный джентльмен и дамский угодник.

Народ, повторяю, любит своего разбойника, любит и певцов разбоя.

*Люблю твои пороки,
И пьянство, и разбой,
И утром на востоке
Терять себя звездой.
И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклиная
За то, что ты мне мать.*

Эти кокетливые стишата (на мотивчик “...милей родного брата блоха ему была”) казалось бы, сочинены Серёнькой для салонного заигрывания: вот я какой, ваш рязанский Эдип, в васильках и лапоточках; разбою Есенин лично не предавался, несмотря на обещания “кого-нибудь зарезать под осенний свист”, “уйти бродягою и вором” и все эти ножики за голенищем, но народ любит его именно за ножики, так же как Высоцкого – за черный пистолет и придуманные этапы и отсидки.

Но всё это оказалось бы крашеным картоном, если бы Сергей и Владимир не разыграли, каждый по-своему, основной разбойный миф: “в набежавшую волну”. В воровской поэтике ведь Мать важнее Жены; мать-старушка – это святое, ее нельзя обидеть, она там вдали вздыхает и ждет своего непутевого, и т. д.

(Интересно, что и Пушкин, как глубоко русский человек, отдал дань этой парадигме; роль матери досталась, ясное дело, няне. Прекрасная креолка Надежда Осиповна и в страшном сне бы не кряхтела, не горюнилась у окошка и не ходила на развилку дорог встречать своего сына, водившего дружбу с разбойниками.)

Именно матери (Волге) приносит в жертву жену (персиянку) непридуманный беспредельщик Разин. По свидетельству Стрейса, Разин “не хотел носить титула, сказывая, что он не пришел властвовать, но со всеми вместе жить, как брат” – только не надо обманываться и прозревать тут какую-то де-

мократию; лучше бы он честно хотел титула. Нет, тут действуют какие-то страшные, древние, примитивные, хтонические механизмы; тут неандертальцами пахнет.

АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВСКИЙ:

В журнале “Здоровье” в советские времена изнывающие от скуки сотрудники забавлялись тем, что подбирали особенно выдающиеся места из писем трудящихся, которыми была завалена их уважаемая редакция. Любовно отстуканными на машинке перлами заполнялись потом странички, распространяемые в Самиздате. Мне попала на глаза какая-то десятая копия, бледная, как “Реквием” Ахматовой. Афоризмы были почти сплошь женские и при этом Черномырдин Виктор Степанович. В одном из них проглядывал сюжет, разумеется, любовный, менее драматичный, чем история с персиянкой, и всё же: “Он говорит, что это случилось в экстазе, а я твердо помню, что дело было в сарае”. Бессмертная фраза.

По ней хорошо видны различия между мужским и женским подходом, и я, кстати, всецело на женской стороне. Мужчина обобщает, женщина разделяет, и скажем ей за это спасибо. Страсть к самой мелкой жизненной прозе, к любой матчасти, ко всему вещному, осязаемому, к противоречивым деталям, к путанице подробностей – может, не созидательна, зато спасительна, на ней мир стоит не качаясь.

Схватившись за обстоятельства места и времени, как слепой за поводыря, высоко не взлетишь, но и с ног не рухнешь

– твердо помня, что дело было в сарае, легче избежать разных постыдных экстазов.

Так что сначала полезем в сарай, в матчасть, тем более что вы сами там окопались. Скажите, за что вы так Садовникова – “глаз плохого поэта... немедля выхватил... уголовный эпизод, а торопливые ручонки уже потянулись к перу”? Садовников – поэт не великих дарований, но одержимый фольклорист, написавший два цикла стихов о Разине. Ну, вкуса у него не было – не самый большой грех. И зачем ему жадно выхватывать из только что опубликованной книги Яна Стрейса уголовный эпизод? – ведь он был доступен многие десятилетия, достаточно зайти в Публичку.

Задолго до рождения Садовникова (1847–1883) в журнале “Северный Архив” А.О.Корнилович напечатал статью о путешествии Стрейса. В ней приводилась цитата из его книги, тот самый уголовный эпизод:

...Мы видели его на шлюпке, раскрашенной и отчасти покрытой позолотой, пирующего с некоторыми из своих подчиненных. Подле него была дочь одного персидского хана, которую он с братом похитил из родительского дома во время своих набегов на Кавказ. Распаленный вином, он сел на край шлюпки и, задумчиво поглядев на реку, вдруг вскрикнул: “Волга славная! Ты доставила мне золото, серебро и разные драгоценности, ты меня взлелеяла и вскормила, ты начало моего счастья и славы, а я неблагодарный ничем еще не воздал тебе. Прими же теперь достойную

тебе жертву!” С сим словом схватил он несчастную персиянку, которой всё преступление состояло в том, что она покорилась буйным желаниям разбойника, и бросил ее в волны.

“Путешествие Яна Стрейса” – “Северный архив”, 1824, ч. X.

От нашего стола к вашему возвращаю вам ту же цитату, немного сокращенную и искаженную за счет перевода и редактуры. Но ведь ясно, что это суп из вашей кастрюли. Не подумайте, что я сам такой пытливый и излазил “Северный архив”, за меня это сделал Лотман в комментариях к “Онегину”.

Итак, в 1824 году путешествие Яна Стрейса стало достоянием русской словесности. А в 1826 появились дивные “Песни о Стеньке Разине”. “Глаз плохого поэта... немедля выхватил... уголовный эпизод, а торопливые ручонки уже потянулись к перу”. Про кого это получается? Правильно – про “наше всё”. Мы о нем дружно забыли:

*Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин.
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,*

*А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвил грозен Стенька Разин:
“Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глупых лет меня ты воспоила,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила,
За меня ли молодца не дремала,
Казаков моих добром наделила.
Что ничем тебя еще мы не дарили”.
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу
Волге-матушке ею поклонился.*

Знал ли Садовников стихи Пушкина? Очевидно, знал. Запрещенные многие десятилетия, они были напечатаны как раз в 1881 году, а “Из-за острова на стрежень” Садовников написал в 1883-м, в год своей смерти.

Но, даже не вглядываясь в даты, понятно, что поступь в начале застольной песни – заемная, и острогрудые челны – родные внучки востроносой лодки, сбежавшие от благородной заштопанной бедности в красный бархат, в веселый дом. В этом же роде и все остальные высококалорийные добавки: пьянка-гулянка, ропот братвы, “нас на бабу променял” – всё то, что у Пушкина немыслимо. У него чистый отчаянный русский вариант “Жертвоприношения Авраама”, совершенно безысходный, потому что Господь не остановил Рази-

на и не подложил вместо персиянки овцу. (В скобках замечу, к нашему спору о Западе, что “Жертвоприношение Авраама” – любимейший сюжет в европейской традиции на протяжении многих столетий.)

А теперь оставим на миг Садовникова. Если вчитывать поэта в пушкинскую песню, то он там кто? Конечно, жертва. Разин-народ топит поэта-персиянина – в волны бросил он Пушкина, Блока, Волге-матушке ими поклонился. А потом добежал и добавил – поклонился Есениным, Высоцким.

На это легко возразить, что народ песню Пушкина не поет. Но и Садовникова он тоже не поет. Он поет что-то свое, и оно гораздо ближе к Пушкину, чем кажется. Проступает Пушкин сквозь Садовникова – неотступно.

Тут пора перебираться из сарая в экстаз. Мы же с вами миф обсуждаем, пытаюсь понять, почему русский человек, выпив, втягивается в разинское безобразие. А коли так, то княжну выкидывают здесь и сейчас, всякий раз, когда поют песню, как здесь и сейчас оплакивает Деметра разлуку с дочерью, и вся природа, словно впервые, откликается на материнское горе. Смотрите, октябрь уж наступил, очей очарованье, значит, Персефона удалилась в подземное царство, и мертвые листья шумят под робкими шагами. А со стола исчезают салаты, остатки пирога разметались по разным концам тарелки, разодранная, сама себе противная утка корчится в застывшем жире, уже побежали в магазин за водкой, которой, как всегда, не хватило, и лучина – догорай, гори – уже

отгорела; отпели ту лучину.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.